

Π РОСТРАНСТВО
ЕРЕВОДА

БОЛЕСЛАВ ЛЕСЬМЯН
ЗАПОЗДАЛОЕ
ПРИЗНАНИЕ



Перевод
ГЕННАДИЯ ЗЕЛЬДОВИЧА

Пространство перевода

Болеслав Лесьмян

Запоздалое признание

«Водолей»

Лесьмян Б.

Запоздалое признание / Б. Лесьмян — «Водолей»,
— (Пространство перевода)

Болеслав Лесьмян (1877–1937) – великий, а для многих ценителей – величайший польский поэт, в чьем творчестве утонченный интеллектуализм соединяется с почти первобытной стихийностью чувства. Книга включает как ранее публиковавшиеся, так и новые переводы Г. Зельдовича и представляет итог его более чем пятнадцатилетней работы.

Содержание

Роза	6
Глухонемая	7
У моря	9
Баллада о заносчивом рыцаре	10
Пантера	12
Сиди-Нуман	14
«Вы, сиявшие золотом, кипевшие гневом...»	16
Радуга	17
Конь	18
Волна	19
Распогодилось	20
Хрычевская баллада	21
Свидрига и Мидрига	23
Вишня	25
Пила	27
Зеленый жбан	29
Смерти	31
Безлюдная баллада	32
Ухажер	33
Сапожничек	35
Горбач	36
Рука	37
Солдат	38
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Болеслав Лесьмян

Запоздалое признание

© Г. Зельдович

© Издательство «Водолей»

Роза

Он пурпурные маки
Бросил в дорожной пыли.
Сон я – где были знаки —
Вспомнить уже не в силе.

Были уста – твоими?
Моими ли – ладони?
Месяц вверху – все зримей,
Сад пустой – все бездонней.

Дни – тягучей обоза,
Ночью – в озере таю...
Когда цветешь ты, роза?
«Вовсе не зацветаю...»

«Вовсе не зацветаю...»
Ты ли мне молвишь, роза?
Слово жадно хватаю,
Дни – тягучей обоза...

Глухонемая

Есть в деревне у нас эта странная девка —
Не умеет сказать, не умеет услышать,
А в очах – небеса и лихая запевка.
Забрела к нам в село, как безродная пришать.

Я не ведал, как звать, – и кому она снится:
Из таких из людей, что лишь смерть позовет их;
Если б я был той смертью, нашел был в немотах
Ту струну, на которой – Господня десница.

И казалось – когда б среди веков златоперых
Ей во грудь земляным я ударил бы комом,
Отголосок в долинах катился бы грёмом,
Тормоша лебедей на сонливых озерах!

Есть в деревне у нас очень бледная речка.
Возле речки столкнулся с рыбачившим дедом
И, спросив, как зовется, услышал словечко:
«Не зовется никак то, чей путь нам неведом!

Называли – Тикуша, порою – Могила;
Называли Далекой и кликали Близкой;
А поживши, я знаю, что, сколько ни рыскай,
Все, что ищешь, дремота давно поглотила!..»

И бывают в деревне вечерние зори,
Когда мир превращается в сон о сновидце
И рождаются в душах багровые мори,
Вместе с памятью всех не сумевших явиться.

И однажды под вечер глухая-немая —
И с душою не больше соловьего тельца, —
Словно лира, которой не дали владельца,
Шла к бегучей водице, чему-то внимая.

И стояла, как будто бы кто-то покликал,
И косу, будто бредень, спускала в глубины,
И хотела поймать этот сон голубиный,
Что ее голоском – под водою курлыкал!

И вода для смелячки была как зеркало,
И свой образ линиялый мечтался – уловом,
И надеялась – он, обладающий словом,
Нам поведаст все, что она не сказала!

И трянулася она. И своей позолочью
Притемненная вечность светла без исходу...
Не своя и ничья, между светом и ночью
Безымянно глядит в безымянную воду...

У моря

Рыбаки, оробев перед бурей грядущей,
И понявши все то, что понятно на свете,
Вперекор глубине – бездоходные сети
Распинают шатром над иссохшею пущей.

«Только олух живет недопевком прилива,
Богатеет сбогата, нищует изнища;
Ну а мы понимаем, что жизнь двуречива,
Мы умеем из неводов – делать жилища!

Бесплезен шатер! Но над миром стожалым
Его грива развеяна так долгополо,
Что тоскливому веку не будет измола!» —
Поясняет бахвал молчаливым бахвалам...

Отрекшись от себя, отрекшись от бывшего,
Из своей чужедальности в тутошность вчужен
Каждый прежний ловец золотого улова,
И нырлящик во тьму, и покрадчик жемчужин!

И ничто их не тешит: им видеть не надо
Беломлечную чайку, моллюска-багрянку;
И раздувшийся парус для них не отрада,
И подобно их время улитке-подранку.

Проползает оно в распотешном величье,
Где прозрачнее тени, ажурнее ветки.
А заслыша вопрос, как же звались их предки, —
Вместо отзыва щерят колючки уличьи.

Но в ночи никому не чинится обиды,
Отворится родник, среди дня незнакомый, —
И срываются с губ, зацелованных дремой,
Жемчуга-шепотки, янтари-полувзрыды.

И в такую-то ночь им не будет пощады,
И выходят их мучить их души егозы —
И сновидят себя, как подводные гады,
Что бывают собой только в собственной грезе.

Баллада о заносчивом рыцаре

Чуждый спеси, чуждый злобе,
Рыцарь спит в дубовом гробе.

К дреме вечной и порожней —
Он улегся поужежней.

А любовница младая
Муслит четки, причитая:

«Мне гадать не стало мочи,
Как ты там проводишь ночи!...

Разлучила домовина
То, что было двуедино.

Эти руки, эти губы
Ныне страшны, а не любы!

И боюсь тебя позвать я,
Шелестнуть подолом платья!

Не делю с тобою ложа,
На себя я не похожа —

И натуживаю тело,
Чтоб тебя оно хотело!

И живу теперь на свете
Я с мечтою – кануть в нети!»

Он решил, что в том измена,
И глаголет ей из тлена:

«Зачервивел я глазами,
Но лежу я не во сраме!

Принекчемившись к никчемью,
Не стыжусь я – что под земью!

Все мне стало посторонне,
Будто Господу на троне!

Я таким предался негам,
Что весь мир – моим ночлегом!

Здесь ни солнышка, ни сада,
Ни любви твоей не надо!

Кровь, пресытась бесшелестий,
Не нашептывает мести!

Где же большее надменье,
Чем у легших под каменья?

Спим так тихо, безымянно:
Ни искусства, ни обмана.

С губ, распяленных бездонно,
Не сорвется даже стопа!

Тут спознался я с соседом —
Тленье ест его изъедом.

И распаду не перечя,
Он во смерти – мой предтеча!

Об ужасном, спеклокровом
Не обмолвился ни словом!

И ни возгласом, ни взрыдом
Не заискивал обидам!

А останкам – хватит силы,
Чтоб завить со дна могилы!

Но однажды мы воспрянем —
Все мы Господу помянем!»

И скончавши эти речи,
Замер так же, как предтечи.

А любовница младая
Удалилась, причитая...

Пантера

Я не буду рабыней завистливых зорей,
Я не буду подувицей солнечным горнам.
Этим зорям на горе и солнцу на горе,
Мой хребет неизменно пятнеется черным!...

Порвала бы я солнце на мелкие клочья,
И мой рык – на земле, а молчанье – в зените.
Я тебя стерегу из таких инобытии,
Где мой танец – повсюду, но смерть – в средоточье.

Умыкни же меня – я избавлю от порчи.
Я пожру твою жизнь и несчастье впридачу.
Буду чують ноздрями предсмертные корчи:
Перезлатила мир – и тебя перезлачу!

Увенчай меня розами. В тихом уюте
Проводи по дворцу, где резьба и букеты,
Где пурпурным вином пересмежи согреты,
Чтобы хляби житья – расхлебались до сути!

Лишь девица одна там давно погрустнела,
Вопрошает у судеб, пытается у мрака...
Вся она – лишь мечта белоснежного тела,
И, объятая сном, дожидается знака!

И пока ее горе не сделалось горче,
Ты швырни ее мне, потеплу-погорячу:
Я почую любовью предсмертные корчи,
Когда солнцу златому я противозлачу!

Он, меня предназначивший пляскам стокровым,
Дал мне взвивный прыжок, доносящий к загробьям,
Изнатужил мне легкие собственным ревом
И мне выострил клык – своей жажды подобьем!

Он рыдает во мне, словно чуя капканы
В густоте моих жил и в костей переплетах!
Он страдает во мне, нанося мои раны,
Что отсчитывал мне на безжалостных счетах!

Он со мною теряется в диких трущобах,
Он со мной поджидает скупую удачу,
Мы изгубную жизнь загоняем под обух,
Когда солнцу златому я противозлачу!

Тебя Львом ли прозвать в поклонении робком,
Называть ли всесущим тебя Ягуаром —
Но к твоим я пытаюсь причуться тропкам
И маню духовитого тела распаром!

Возжелай же меня кровожадною хотью!
Будет свадебный пир, тебе выкликну клич я!
Ублажу твои когти – расшарпанной плотью,
Упою своей кровью – бессмертные клычя!

А потом – изменю, напущу тебе порчи,
Искромсаю всю вечность, как дряхлую клячу, —
Чтобы чуялись Бога предсмертные корчи,
Когда солнцу златому я противозлачу!

Сиди-Нуман

Этот рыцарь, чья слава Багдад облетела,
Знаменитый любовью к лилейной Эмине,
Поминает в сердцах о злосчастной године,
Как нарек себе в жены – неверное тело!

И для гнева искал подобающей стати,
И отместкой своей не хотел обомститься,
И, наслушавши пошепты древних заклятий,
Обратил ее – белой молодой кобылицей.

И еще не поняв своего инотелья,
Накровила глаза, как боец – кулачища,
И так странно волнуют – незнанные зелья,
В луговом ветерке – ей мерещится пища...

Так внезапны соблазны, и ярости вспышки,
И кипение в жилах, и заходь в чреве...
И пустилась в попляски, поскоки, попрыжки —
Но все с тем же изяществом, свойственным деве!

И богатая сбруя была златолита;
Умачал ее тело в бальзаме, елее —
И при этом глядел все надменной и злее
На обмашистый хвост и четыре копыта.

Любовался на гриву из небыли родом
И на жемчуг зубов, что рассыпан по деснам;
То подкармливать пустится клеверным медом,
То ей розу подносит – в забвенье захлестном.

А позднее, дождавшись полдневной минуты,
Когда лоно земное пыланьем подмято,
Он стоптал с себя оторопь, словно бы путы,
И воскликнул: «Аллах!» – и вскочил на бахмата!

Он понесся по улицам в гневе великом,
Становясь на скаку все багровей, тигровей.
Свои шпоры топил в набегающей крови
И молчаньем своим – был страшнее, чем рыком!

И все то, что в полете глаза ухватили,
Завертелось, как образы в зеркале вертком,
И настало обличьям, и мордам, и мордкам —
Целой жизни измглеть в золотистом распыле!

В том распыле всю память свою пораздергав,
Бился зверь, инобытия ставший добычей,
А ездок познавал в победительном кличе
Тот восторг, что сильнее любострастных восторгов!

«Вы, сиявшие золотом, кипевшие гневом...»

Вы, сиявшие золотом, кипевшие гневом —
Вы теперь только память о смертной истуге,
Хохоток в облаках, щебетанье пичуги,
Непотребные другам, немилые девам.
Для влюбленных вы стали словами обетов,
Для бездельных богов – сторожами юдоли,
Кладовыми сравнений для бедных поэтов,
Для ребенка – детьми, но не знавшими боли.
Вы – цветок-скуроцветка для древнего предка,
Для воителя – битва, железо и пламя,
Для сновидца вы в гресе – пустая проредка,
Для меня – целый мир, исчезающий с вами!
А русалки, рожденные в струйчатой ясни,
Сопричаствуют вам, будто собственной басне...

Радуга

Он слышен был, когда в зеленом жите
Он убыстрялся – теплый дождик мая,
А солнце, тучу брызгов пронимая,
Разъяснивало бисерные нити.

Ударил в пыль трухлявую на шляхе,
Нырнул в кусты, шурнул по мокрым сучьям,
Прошелся черным по булыжной плахе,
Потом притих, заслушавшись беззвучьем.

Он замолкает – и, расцветшей сразу,
Безмерье будет радугой объято,
Она ж прерывиста и клочковата,
Как будто снясь прижмуренному глазу.

Все огоньки собирая с небосвода,
Напоминают призрачные арки,
Что даже в день и радостный и яркий,
Куда ни прячься, ты стоишь у входа.

И ты, чью душу пожрала дремота,
Вперясь в безмерье, вслушиваясь в худо,
К зам ирному прошел через ворота,
Что за тобой не заперты покуда.

Конь

Конь мой сивый, некрасивый,
С колтуном вместо гривы,
Люблю твою взмыленную подпругу,
Парного дыханья зеленую юшку.

Храп костлявый, да осклабый,
С губой мягче грудей бабы,
Забрось на плечо мне, как доброму другу,
Чтоб шеи упругой я чуял натугу.

Ты, печальный, как потемки,
С полосой от постромки,
Возьми меня в дружбу, как взял бы вола ты,
И будь постояльцем облупленной хаты.

Дам воды я непременно,
Дам и сахара, и сена,
И кус доброй соли, и свежего хлеба,
И через окошко пригну тебе неба.

Ты не супь камыш-бровину,
Ты узнай мою кручину,
А темная темень замрет у порога —
Со мною на пару упрашивай Бога.

Волна

Где-то в море она возростала глубоко —
И небесного трона искать себе взмыла.
При рожденье своем недоступна для ока,
Тем она исполинней, чем ближе могила.

Поначалу проходит в молчанье угрюмом,
Переломится там, где погибла сестрица,
И, зачуяв кончину, клокочет, ярится —
И с посмертным о берег ударится шумом.

И, шумя, распадается гибельным снегом —
И свою вспоминаю тревожную душу:
Иль душа моя мчится не этим же бегом?
Не ударит еще раз в знакомую сушу?

Распогодилось

Любо-нелюбо – а все же
Нудит меня проясниться
Вместе с порою погожей,
Радостью золотолицей.

Счастью – сиять неохота,
Я же зову его – «Это»,
И обоюдностью счета
Нежность моя отогрета.

Солнышко на небе ширя,
Вязнет в бахромке ресничьей,
И ни единому в мире
Сердцу – не будет добычей!

В травах оно, в косогоре,
В туче и в тучи разрыве;
Шаг я потешно ускорю,
Чтобы шагалось счастливей.

В солнце бреду я по горло,
Счастье глотаю во вздроге;
Щеки мне – гибель отерла,
Радостью – пружатся ноги.

Рад я и смертным печатям;
Чувствую в солнце весеннем:
Время каким-то начатьям,
Время каким-то везеньям!

Верую – шляхом разминным
«Это» – надвинулось тихо,
И от него не уйти нам,
Как не уходим от лиха.

Кажется радость неловкой;
Млея и обесприютя,
Я заблудился кочевкой
Между чужих перепутий.

Нужно остаться без дому,
Жить ни печалью, ни страстью,
Чтобы тянуться к такому —
Просто ничейному счастью.

Хрычевская баллада

Молотилось об землю – да сухое полено:
Отчекрыжило ногу старичку до колена.

Брел зачем-то куда-то непутевым кочевьем
И застыл возле рощи, но спиною к деревьям.

И бельмом, но краснявым зазирал старичонка,
– Ой, да-дана, да-дана! – как речьится речонка.

Извихнулась из глуби водяная девица,
Да как брызнула в бельма – аж дедуга кривится.

Ей хотелось быть нежной, и хотелось быть лютой,
И улыбить улыбкой, и засмучивать смутой!

И тарщила глазья – изумрудные вспуги, —
Обняла его ноги – стосковалась по друге.

Целовала щекотно, целовала взажмурку, —
Ой, да-дана, да-дана! – деревянную чурку!

Хохотал он впокатку над поблазницей падкой,
Аж запрыгал по травке, аж пустился присядкой.

Аж тряслась бороденка, и подщечья, и губы,
Околачивал чурку об жемчужные зубы!

«Отчего ж ты целуешь только эту колоду?
Али брезгуешь плотью, что мне дадена сроду?»

Убирайся же к черту – бесовская утроба,
Ты, русалочья дохлядь, ручьева хвороба!

Ой, помру я со смеху, а помру – не забуду,
Как мою деревяшку искушаешь ко блюду!»

Обхватила объятьем, окрутила, как дзыга:
«Так иди же со мною, ты, дедуля-дедыга!

Я тебя полелею на печи из жемчужин,
Подприбойную гальку приготовлю на ужин.

Отведу я в хоромы, заживешь ты на славу,
А с губы моей выпьешь поцелуев отраву».

За бородку тянула, да за торбу бродяжью
К переглотчивым водам, что залоснились блажью.

Не успел оглянуться – волны хлещут, как плети;
Не успел помолиться – перестал быть на свете.

Заворочались воды, размешались размешью,
Да и сгнула торба с бороденкой и плешью!

Лишь чурбак переходный – деревянная рана —
Победительно выплыл – ой, да-дана, да-дана!

Мог поплыть себе прямо, мог податься не прямо,
От калечья свободный и отмытый от срама!

И хорошей дороги заискал он повсюдно,
Будто судна отломок, убежавший от судна.

Отогрел на припеке – да свою мосолыжку,
На своем отраженье затевал перепрыжку.

И не мог надивиться своему поособью —
И – да-дана, да-дана! – бултыхнулся к загробью.

Свидрига и Мидрига

Не гарцуй, лихая лошадь, на дыбках не прыгай —
Пляшут пьяница Свидрига – с пьяницей Мидригой.

Пусть от боли под цепями зернышки не скачут —
По лужайке запивохи пятками кулачат.

Окрутила на припеке бледная Полдница,
Чтоб Свидриги и Мидриги пляской насладиться.

Зазидала в очи нежно, словно бы в кормушку.
«Порешите меж собою – кто возьмет подружку?»

«Это мне, – сказал Свидрига, – грудь белее лилий!»
«Это мне, – шипит Мидрига, – а не то – могиле!»

Хвать – один ее ладошку, и другой – ладошку.
«Мы разделим полюбовно девицу-немножку!»

А она в лицо смеется, но совсем неслышно.
А она в уста им дышит, но совсем бездышно.

Разнялась на половинки – радостной прибавой —
И сестрицами предстала – левою и правой.

«Нынче каждому вдосытку – собственный отломок!
Нынче с каждым потанцуешь до глухих потемок!

Ты одна – руки четыре, и четыре ляжки!
Наповал увеселимся с этакой милашки!»

Исподлобься перед пляской, ровно перед дракой,
Задали переполоху с девкой обоякой!

Скачут наперезадорку, кто кого почище.
Серы пыльные подметки, серы голенища.

Вот закрутка, перекрутка и опять закрутка:
Чабрецу, тимьяну жутко – и ромашкам жутко!

Тот орал: «А ну-ка, сдохни!» – а другой: «В порядке!»
Это пляска до улежки, пляска до покатки!

Так умаяли девицу в диком поединке,
Что погибли в одноразье обе половинки.

«Закопаем на погосте мы и ту, и эту:
Вместе прыгали по свету – и уйдут со свету.

Закопаем на погосте – и приветец девке:
Будет правке – отходная, отходная – левке».

Ей одна была могила, но два разных гроба.
Эхом охнула округа – заплясали оба!

Оба сыты, оба пляшут, да с разгульной страстью,
То и дело разеваясь незабитой пастью.

Скачут, будто захотели вырыгнуть погадку, —
На присядку, на закрутку, снова на присядку!

Даже смерть пошла поскачком в пляске двоегробой,
Даже старое кладбище екает утробой!

Безначальным, бесконечным проносились кругом,
Аж подземные глубины гукали под лугом!

В голове Свидримидриги мутно от усилья,
Словно вихрем нашвырнуло на ветрячьи крылья!

И повыдуло им память с первого повева,
Где на белом свете право, где на свете лево, —

И в каком гробу какие скачут полмолодки,
И кому какие милы для любовной сходки.

Так перхает в очи тьмою вихорь-торопыга,
Что не знают, кто Свидрига, кто из них Мидрига.

Отворяется им смерти черная хорона:
«Будет вам по домовине, будете как дома!

Вон тарашится загробье глазом, ровно зевом:
Для тебя, Свидрига, – правым, для Мидриги – левым!»

И попадав на коленки, заплясали живо
На коленках, на коленках – прямо у обрыва.

А потом – на четвереньках, а потом – на пузе,
Дружка дружку обнимая, а потом валтузя.

И свихрились в домовины, как ненужный сметок,
Да блеснули из пучины высверком подметок!

Вишня

Как-то вишню в саду у владыки
Озарили закатные блики —
И узрел ее, полную жаром,
И поддался погибельным чарам.

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

«Поклоняются люди и птицам,
Поклоняются звезд вереницам —
Я в тебя буду веровать свято,
Вишня, вишня! Сестрица заката!»

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

«Пронижи мне, о зорькая зорька,
Мою душу, где буйно и горько...
Здесь во саде – затишья затишной...»
И устами тянулся за вишней.

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

И тянулся он к скорби закланной,
Каменел он, безумьем объятый,
И не знал, что не дни и недели,
А столетья над ним пролетели.

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

Обрела через то целованье
Вишня присное существованье
И, в укроме из листьев блистая,
Пламенела, навек молодая.

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

Расточился он облачком мрака,
По себе не оставив ни знака, —
Лишь уста, что ее целовали,
В безмятежном саду вековали.

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

И ей песенку пели из ночи:
«Чтобы грезить, нам надобны очи,
Но какой бы ни жили судьбою,
Мы навеки пребудем с тобою».

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

Шли девицы, юны и пригожи,
И дивились, к чему и почто же.
«Бы, уста, если жаждой томимы, —
Разве вас напоить не могли мы?»

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

«А могли б не одной вы девице
Дать любовь, без которой крушится!
Что за хворь прикрутила вас путой
К этой вишне, от сока раздутой?»

Ах, горю я и стражду
Не про чью-то про жажду!

Пила

Ходит по лесу губница, тонкая, как пилы,
Да молодчиков чарует чарами могилы.

Углядела паренечка где-то средь долины:
«Тебя алчу, сон единый – диный-мой-единый!»

Припасла я поцелуев для моей голубы,
Будут блески, недоблески – и стальные зубы!

Зачаруйся, как посмотришь на мою улыбку,
Обоснись моими снами – снами невпросыпку!

Ляг в ромашки головою, головою в маки,
Ляг со мной на знойном зное – и в лесном полмраке!»

«Загорятся мои ласки огненным раскалом,
Поцелую поцелуем свеку небывалым!

Отпихну я всех молодок, что в моей во власти, —
От любви они слезятся, словно от напасти.

Мне примериться бы плотью к этой новой плоти,
Запурпуриться губою для кровавой хоти!

Чтобы нам с тобой друг дружку не любить по-разну,
Я на зубьях, я на зубьях трепетом увязну!»

Скрежетнула упоенно, разострила зубки:
«Это – счастье, это счастье – слаще лесорубки!»

А над ними золотисто вербы зашептали —
Да зазнал прикосновенья распаленной стали.

Что уже отцеловала – пилит вполвину:
«Много душ для замогилья из тебя я выну!»

Разлобзала, раскромсала, хохотнула с прыском:
«Вам счастливого посмертья, крохоткам-огрызкам!»

А потом в чужие страны зашвырялась плотью:
«Нынче Боженька рачитель смертному ошметью!»

Те собратся бы хотели в преждебывшем теле,
Да узнать один другого больше не умели.

Поначалу из пылищи заморгало веко —
Было то морганье века, но не человека!

Голова, что ищет шею, катит вдоль запруды,
Словно тыква на базаре выпала из груди.

Горлом, что ему досталось, яр отъемно дышит,
Ухом, вздернутым на ветку, верба что-то слышит!

Пара глаз, лишенных блеска, тухнут поедину:
Тот вкатился в муравейню, этот – в паутину.

Та нога пошла присядкой у лесных закраин,
А вторая в чистом поле ходит, как хозяин.

А рука, что над дорогой в пустоту воздега,
На прощание кому-то машет без ответа!

Зеленый жбан

То не паладины – трупы средь равнины!
Трупы средь равнины – это паладины!
 Не для них – напев ручьевый,
 Сторонятся их дубровы,
 Мчится к ним, искря подковы,
 Только вихрь единый.

Булькает снежница – и весна стучится.
Трупы из халупы видела девица —
 И выносит ниоткуда
 Жбан зеленый, где остуда
 На горячее на худо,
 Что спекает лица.

Стопы мои босы, да сверкают косы —
Золотоволосы ваши водоносы.
 Ради горечи соленой,
 Вкусом смерти разъявленной,
 От рассвета в жбан зеленый
 Собирала росы.

Воду выпьем все мы – но пребудем немы,
Мы в крапивах сивых никому не вемы.
 Нам теперь земляца – ровней,
 Так безгрешней и бескровней,
 Но хотим дознаться, что в ней,
 И дознаться – где мы.

Молвят паладины: наш трофей единый —
Смертные тишины – да твои помины.
 А когда собьешь нам сани
 Для навечных зимований —
 Положи нам на кургане
 Венчик из калины.

А всего смятенней в сутолоке теней,
Кто во мраке маки клал мне на колени.
 Пусть насытится прохладой,
 Снова, снова станет младый,
 На меня гладит с отрадой
 Из-под смертной сени!

Не переупрямить лет глухую заметь,
Уж давно бы в гробы – и пора доямить!
 Помню, маки мне пылали,

А была ты, не была ли,
По тебе мои печали —
 Это уж не в память!

У небес ланиты ливнями омыты,
В травах и в муравах жбан лежит разбитый,
 А среди осколков глины
 Почивают паладины,
И летит к ним ветер единый,
 Пылью перевитый!

Смерти

Смерти проходят в солнечном звоне,
Дружно проходят, ладонь в ладони.

– Выбери в нашей несметной силе,
Кто же тебя поведет к могиле.

Выбрал не ту, что в охре спесивой:
После могила пойдет крапивой.

Выбрал не ту, что в парчовом платье:
Хлопотно будет эдак сверкать ей.

Выбрал он третью, пускай бобылиха,
Но зато – тиха, зато – без пыха.

Оттого я тебя предпочел им,
Что, боговитая, ходишь долом.

Жаль мне, жаль улетающей птицы,
Я умру, чтобы следом пуститься.

А бледна ты, как лучик предзимний, —
Ты откуда и кто ты, скажи мне.

Обочь мира живу я, далеко,
Ну а имени нет, кроме ока.

Ничего-то в нем нет, кроме ночи, —
Знала, какие ты любишь очи.

Гибель ты выбрал, какая впору,
Только не сам погибнешь от мору.

Гибель выбрал еще не себе ты,
Но ты запомнишь мои приметы.

Я иду к твоей маме, что в хате
С улыбкой ждет своего дитяти.

Безлюдная баллада

Недоступна, неходима, вчуже к миру человечью,
Луговина изумрудом расцветала к бесконечью;
Ручеек по новым травам, что ни год, искрился снова,
А за травами гвоздики перекрапились вишнево.
Там сверчок, росой раздутый, гнал слюну из темной пасти,
Заусенились на солнце одуванчиковы снасти;
А дыханье луговины – прямо в солнце жаром пышет,
И никто там не нашелся, кто увидит, кто услышит.

Где же губы, где же груди,
Где сама я в этом чуде?
Что ж цветы легли для муки —
Под несбывшиеся руки?

И когда забожестволо в закуте под беленою,
Полудымка-полудева поплыла тогда по зною;
Было слышно, как терзалась, чтоб себя явить безлюдью —
Косами прозолотиться, пробелеться юной грудью;
Как в борьбе одолевала мука сдышанного лона;
Сил навеки не хватило – и почила неявленно!
Только место, где была бы, продолжалось и шумело —
И пустоты звали душу, ароматы звали тело.

Где же губы, где же груди,
Где сама я в этом чуде?
Что ж цветы легли для муки —
Под несбывшиеся руки?

И на шорох незнакомый насекомые да зелья
По следам сбежались к месту небывалого веселья;
И лозящий тени теней, там паук раскинул сетью,
Буки радостно трубили нас исполнившейся нетью,
Жук дудел ей погребально, пел сверчок ей величально,
А цветы венком сплетались, но печально, ах, печально!
На полуденное действо и живых, и мертвых тянет —
Кроме той, что стать могла бы, но не стала и не станет!

Где же губы, где же груди,
Где сама я в этом чуде?
Что ж цветы легли для муки —
Под несбывшиеся руки?

Ухажер

Он лежит на возке, приторочен супоней,
Как недвижимый цветок на подвижной ладони;
Омерзенье прохожих, голота в голоте,
Он прилежный невольник у собственной плоти;
Он вращает рычаг – и из слякоти-сыри
Прямо к небу взывает на грохотной лире.
Колесит над канавой, вонючей канавой,
Где размылились контуры тучи слюнявой, —
Колесит в подворотню к той девке-присухе,
Перед коей из рвани он вырвется в духе —
И приветит царевну своих упований,
И когтистые клешни протянет из рвани.
«Как люблю бахрому этой мызганой юбки,
И дыханье твое, и снежистые зубки!
Меня возит тоска, эта старая лошадь.
Не строптива она, чтоб тебя исполошить;
И я знаю, что горем та лошадь жереба,
Но тебе поклоняться я буду до гроба!
Обними же покрепче – урода в коляске!
И прими мои страсти, прими мои ласки!
Подселяйся бесстыже к чужому бездомью,
Оскоромь свои губки безногой скоромью!»

Молодица отпрянет,
А калечище тянет:
«Если стался уродец – люби поневоле:
Для тебя – наболевшие эти мозоли,
Для тебя – этот жар в прогорелом кострище,
Для тебя – недожевок прикинулся пищей!
Отыщи красоту в этой поползи рачьей,
Будь незряча, как мертвый, мертва, как незрячий!
Я обрубком вихнусь непотребно и грязно,
Меньше тела в калеке, да больше – соблазна!
Будет ласка моя всех других многогрешней,
Будут губы черешневей сладкой черешни!»

Молодица отпрянет,
А калечище тянет:
«Полетит за тобою любовь полулюдка,
Как летит за горбатым издевка-баутка!
Или этому жару, и муке, и дрожам
Не заполнить пустот, что зовутся безножьем?
Если б раз на веку в этой жизни короткой
Мне ударить во прах молодецкой подметкой,
Угнести этот прах молодецким угнетом!

Но спешу к бесконечью! Спешу я к темнотам!
Ибо – лишь темноте мои рубища любви,
Ибо – где-то есть руки, и где-то есть губы —
И отыщут меня, как бесценный запряток,
Обцелуют от лба до несбывшихся пяток.
Докачусь я туда на возке разудалом,
Где я нужен червям и потребен шакалам!»

Молодица отпрянет,
Красотою изранит —
И калеке обрыдло, что было посладку,
И калека завертит свою рукоятку,
И отъедет куда-то, в темноты, в пустоты —
Ради новой потехи и новой работы:
Всех на свете шумнее и всех бестолковей —
В бесконечные поиски вечных любовей!

Сапожник

Луна нежится через хмарь,
Крючком цепляя дымоходы;
Привстал на цыпочки фонарь
И загляделся в огороды.
Шкандыба, полторы ноги,
Блажной сапожник беззаплатный,
Тачает Богу сапоги,
Тому, чье имя – Необъятный.

Да будет лад и прок
 Явившему воочью
Такой большой сапог
 Такой чудесной ночью!

В обитель синюю Твою,
Ты, сущий в тучах, сущий в росах,
Подарок щедрый отдаю,
Тебе для ног твоих для босых!
Пусть известье разнесут
По неба радостной светлице,
Что где сапожник родится,
Там Бог на славу приобут!

Да будет лад и прок
 Явившему воочью
Такой большой сапог
 Такой чудесной ночью!

Ты знал – дороженька долга —
И дал житья на всю дорогу.
Прости, что кроме сапога
Мне нечего оставить Богу.
В моем шитье – одно шитье,
И шью, покуда станет силы!
В моем житье – одно житье,
Так доживем же до могилы!

Да будет лад и прок
 Явившему воочью
Такой большой сапог
 Такой чудесной ночью!

Горбач

Горбач помирает не втуне,
Предосенье горем калеча.
И жизнь у него – из горбуний,
И смерть у него – горбоплеча.

В дороге, где хмарей заплеты,
Он понял чудную примету:
Всего-то и вышло работы —
С горбиной таскаться по свету.

Горбом и плясал он, и клянчил,
И думал над старью и новью,
Его на спине своей нянчил
И собственной выпоил кровью.

Покорная тянется шея
Ко смерти под самую руку...
Лишь горб, нагорбев и большея,
Живет, набирается туку.

На время упитанной туши
Верблюда он пережил в мире;
Тому – все темнее и глуше,
Другому – небесные шири.

И горб на останки верблюда
Грозится своею колодой:
«Вставай, долежишься до худа,
С моею поспорив породой!

Иль доброй те надобно порки?
Иль в дреме затерпнули ноги?
Иль брал ты меня на закорки,
Чтоб сбиться на полудороге?

Чего ж утыкаешься в тени?
Спины твоей тесны тесноты.
Спросил бы тебя, телепеня,
Куда меня двинешь еще ты!»

Рука

Искорежась от мук пересохшей мочагой,
Это тело мое побиралось под дверью,
А рука между тем сумасшедшею тягой
Вширь и вверх безобразилась, прямо к безмерью.
Покрывясь от жары, без гроша на ладони,
Все росла и суставы мозжила, как пробку,
И дышала весельем, подобно подгребку,
Что мечтает о море в убогом затоне.

Руку, бескрайнюю руку
Надо сложить бы в щепоть!
Муку, бескрайнюю муку
Надо молитвой сбороть!

Мы, с безмерной ладонью, укрывшей от худа,
Непонятно чьи облики застящей зренью, —
Из какого ж далекого мы ниоткуда,
Если тень ее падает пальмовой тенью!
И бежит ее дрема, и девичьи груди
Никогда не покоятся в этом затире;
Увидав ее, жмутся прохожие люди,
Ибо сколько ни кинешь – ладонь эта шире!

Руку, бескрайнюю руку
Надо сложить бы в щепоть!
Муку, бескрайнюю муку
Надо молитвой сбороть!

Наболевших костей перепрыгнув границы,
Превзошла мою душу, и совесть, и ложе,
И боюсь, что лицом я смогу в ней укрыться
И, укрывшись, на свет не выглядывать Божий!
Но и перекреститься – крещусь я со страхом,
Ибо так же безмерны крестовные знаки:
На меня стебельковым налягут размахом,
А ужасный остаток – мятется во мраке!

Руку, бескрайнюю руку
Надо сложить бы в щепоть!
Муку, бескрайнюю муку
Надо молитвой сбороть!

Солдат

Вернулся служивый, да только без славы —
Не слишком-то бравый и очень костлявый.

К ядру приласкался ногою и боком —
И нынче вышагивал только посскоком.

Стал горя шутком, попрыгушкой недоли
И тем потешал, что кривился от боли.

Смешил своих жалоб затопом-захлопом
И мучинских мук неожиданным встрепом.

Причухал домой он – и слышит с порога:
«Пахать или сеять – зачем колченога?»

Дотрюхал до кума, что в церкви звонарил,
Но тот не признал и дубиной ошпарил.

Явился к милаше – а та употела,
Когда греготала с ядреного тела!

«Ты, знать, свой умишко на войнах повыжег.
Тебя – четвертина, а три – передрыжек!

Так мне ли поспеть за твоим недоплясом?
И мне ли прижаться полуночным часом?

Уж больно прыглив ты прямохонько к небу!
Ступай, и не лайся, и ласок не требуй!»

Пошел к изваянью у самой дороги:
«О Боже сосновый, о Господи строгий!

Кто высек тебя, того имя забвенно, —
Но он пожалел красоты и полена.

С увечным коленом, с твоим кривоножьем,
Тебе не ходить, а скакать бездорожьем.

Такой ты бестелый, такой худобокий,
Что будешь мне пара в моем перескоке».

И долу ниспрянуло тело Христово;
Кто вытесал Бога – тесал безголово!

Ладони – две левых, а ноги – две правых;
Когда зашагал, продырявилось в травах.

«Не буду сосниной от века до века,
Пойду через вечность, пускай и калека.

Пойдем неразлучно – одна нам дорога —
Чуток человека и крошечка Бога.

Поделится мукой – поделится в муке! —
Обоих людские скостляли руки.

Мы братски разделим по малости смеха,
Кто первым зальется – тому и потеха.

Опруть я на тело, а ты на соснину,
Меня ты не минешь, тебя я не мину!»

С ладонью в ладони, пустились в дорогу,
Суча перепрыжливо ногу об ногу.

И вечных времен проходили толику,
Какой не измерить ни таку, ни тiku.

Минуло все то, что бывает минучим, —
С беспольем, бескровьем, безлесьем, беззвучьем.

И буря настала, и тьма без оконца,
И страшная явь истребленного солнца.

И кто это бродит среди снеговья,
Вовсю человечесь, вовсю божествья?

Два Божьих шкандыбы, счекрыженных брата,
Культипают как-то, совсем не куда-то!

Один без заботы, второй без испуга —
Волочатся двое влюбленных друг в друга.

Своей хромоты было каждому мало:
Никто не дознается, что там хромало.

Скакали поскачком на всяку потребу —
Покуда в конце не допрыгали к небу!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.